

ОРУЖЕЙНИКЪ

КЛЕЙМО ТРЕТЬЕГО СОРТА

— Сталь помнит руку —

ДАНИЛА БУЛАТОВ



Данила Булатов

Оружейникъ. Клеймо третьего сорта

<https://litres.ru/74692169>

SelfPub; 2026

Аннотация

Меня зовут Пётр Кречетов, мне шестнадцать, и мой род сорок лет клеймят третьим сортом. Любое изделие, что бы мы ни сделали. Так записано в деле.

А ещё меня зовут Виктор Горелов, сорок два года, инженер-металлург. Двадцать лет закалки, отпуска и экспертиз по отказам — до того дня, когда я очнулся в чужом теле, в империи, где сталь оживляют жаром, а оружие решает всё.

Палата клейм меряет изделие двумя числами: сколько жара держит и сколько теряет за сутки покоя. Сорт решает цену, заказ и место в мире.

Вот только Палата меряет покой. А на границе воюют.

Клинки моего прадеда признали браком. Их по ошибке отправили на заставу, и там они пережили всё первосортное железо империи. Род объявили жуликами и лишили права клейма.

Никто не стал разбираться почему. Я знаю почему.

Ни денег, ни связей, ни права клейма у меня нет. Есть одно: я единственный в империи, кто понимает, что именно меряет проба.

И я начну с дверного замка.

Содержание

Глава 1. Двадцать девять	5
Глава 2. Дело пятьдесят девятого	14
Глава 3. Сорок один	22
Глава 4. Приказчик	30
Глава 5. Вызов	38
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Данила Булатов Оружейникъ. Клеймо третьего сорта

Глава 1. Двадцать девять

Я очнулся на ударе.

Не до него и не после. Ровно на нём: правая рука шла вниз, молоток лёг в заготовку, от заготовки отскочила искра и погасла на фартуке. Всё это сделал кто-то, кем я был.

Рука пошла вверх снова.

Я смотрел на неё и держал в голове одну простую мысль: это не моя рука.

У моей на тыльной стороне с девяносто четвёртого года косой ожоговый шрам в полтора сантиметра — память о том, как я проверял температуру ванны без рукавицы. Здесь кожа была чистая и очень молодая.

Молоток я уронил.

— Не стой, — сказали за спиной.

Голос был старый и спокойный, и в нём не было ни удивления, ни вопроса. Так говорят человеку, который уже двести раз это слышал.

Я не обернулся. Я смотрел на наковальню.

На ней лежала железная полоса, тёмно-красная по кромке и оранжевая в середине.

Градусов восемьсот в середине, может восемьсот пятьдесят. По краям ушло ниже семисот, и бить туда было уже нельзя: холодное железо под молотком не течёт, оно трескается.

Я знал это так же твёрдо, как собственное имя.

Собственное имя, кстати, я тоже знал. Виктор Ильич Горелов, сорок два года, инженер-металлург, двадцать лет термообработки и экспертиз по отказам на заводе, который я мог бы начертить по памяти с закрытыми глазами.

И я знал, чем это кончилось.

На меня опрокинулся штабель труб у третьего пролёта: сложили в четыре яруса при норме в три и не поставили подкладки. Двадцать лет я писал в заключениях, что причина отказа — нарушение правил складирования.

Красиво закрыл тему.

— Петька.

Я обернулся.

Старик сидел на низком чурбаке у горна и держал ногу на рычаге мехов. Сухой, в прожжённой рубаше, с короткой белой бородой, которую, судя по неровному краю, он стриг сам и без зеркала. Лет семьдесят. Глаза у него были молодые и злые.

— Полосу спалишь, — сказал он.

Он качнул ногой. Меха пошли, в горне поднялось и опало,

и по верху угля побежал тот самый сквозной жёлтый свет, который на заводе я видел только через синее стекло.

Горн был на древесном угле, меха кожаные и рычажные, с продранной заплатой на боку.

Я повернулся к наковальне и поднял молоток.

Полосу надо было сунуть обратно в горн. Объяснять старику, почему внук вдруг встал и забыл, как держат инструмент, мне сейчас было нельзя.

Поэтому я сделал то, что умел: взял клещи, убрал заготовку в самое пекло под дутьём и накрыл сверху кучкой угля, чтобы грелось равномерно.

Старик смотрел.

— Это зачем?

— Чтоб не только сверху брало, — сказал я.

Голос у меня был чужой. Высокий, с мальчишеской трещинкой на последнем слоге.

Старик пожевал губами.

— Ну-ну, — сказал он.

Больше он ничего не сказал, а я запомнил, что это «ну-ну» было первой похвалой, которую я здесь услышал. Их потом было немного.

Пока грелось, я осматривался и считал.

Мастерская была длинная, с земляным полом и двумя окошками в четыре стекла. Горн, наковальня на дубовом пне, бочка с водой.

Рядом вторая бочка, с чем-то густым — судя по запаху,

конопляное масло. Вдоль стены верстак, на нём тиски с деревянными накладками на губках.

Инструмент был развешан по стене, и вот по инструменту я и понял, что дело плохо.

Там висели пробойники и бородки, зубила, подбойки, гладилки, ручники разного веса. Всё это я узнавал, и всё это было сделано вручную.

А ещё там висели три вещи, которых я не знал.

Первая была похожа на рычажные весы, только вместо чашек на коромысле сидели два медных стакана, и один закрыт стеклом с риской.

Вторая — деревянный футляр с костяной шкалой от нуля до двухсот, шаг в одну единицу, на крышке клеймо с двуглавым орлом.

Третья ни на что не была похожа: медное кольцо на ореховой рукояти, с тремя проволочками внутри.

Я стоял и смотрел на них, и первый раз за это утро мне стало холодно.

Потому что инструмент — это отпечаток задачи. Я двадцать лет читал цеха по инструменту, и ни одна задача, которую я знал, не требовала медного кольца с тремя проволочками.

На стене над верстаком была прибита бумага.

Я подошёл и прочёл.

ПАЛАТА КЛЕЙМ. Отделение Тульское. Наряд на изделия скобяные, не оружейные. Кречетову, Егору Саввичу, по-

сада Кречетово. Замков дверных нутряных — восемь. Сорт третий. Поверка в четверг, двадцать первого октября тысяча восемьсот девяносто девятого года.

Прочёл два раза. Каждое слово по отдельности мне было понятно. Вместе они не складывались ни во что.

Восемьсот девяносто девятый год.

Я стоял у стены в чужом теле, в чужом веке, в мастерской, где делают дверные замки по наряду ведомства, которого в моём мире никогда не было, и единственное, что я мог сказать себе в утешение, — это что полоса в горне греется ровно.

— Доставай, — сказал старик. — Готова.

Я достал. Полоса шла светло-оранжевым по всей длине, и это было то, что нужно.

Работал он, а я подавал.

То есть сначала я попробовал работать сам, и это кончилось быстро. Я положил полосу, примерился, ударил — и понял, что быю не туда, куда смотрю.

Молот в прежней жизни я держал два раза в год, на спор. Руки, которыми я теперь владел, молоток знали хорошо — и слушались того, кто ими жил до вчера. Этот кто-то во мне молчал.

Третий удар смазал кромку.

Старик встал, молча отобрал у меня ручник и показал одним ударом, что я делал не так. Он не объяснял. Он просто бил, а я смотрел.

Он осадил конец полосы, перевернул, взял бородок и пробил отверстие — с одной стороны до половины, потом перевернул заготовку и добил с другой, навстречу. Заусенца не осталось почти совсем.

Я стоял и думал, что мог бы написать по этому человеку отчёт на двадцать страниц, а он обо мне — ничего, и прав будет он.

— Держи, — сказал он и кивнул на клещи.

Я держал. Он правил.

— Пружину в чём калишь? — спросил я.

Он не поднял головы.

— В воде.

— Поведёт.

— Ведёт, — согласился дед. — Я потом правлю.

В воде сталь остывает рывком, и тонкую пружину от этого тянет винтом, а иногда и рвёт по кромке. В масле остывание мягче, твёрдости для пружины хватает с запасом, и править потом почти нечего.

— А в масле? — сказал я.

— Масло дорогое.

— Оно же вон, в бочке.

— То на отпуск, — сказал дед. — На закалку его идёт четверо. Считать умеешь — посчитай, сколько замков надо продать, чтоб бочку купить.

Я посчитал. Если замок у нас берут копеек за сорок, а бочка стоит хотя бы рублей восемь, то продать надо больше, чем

нам заказывают в год.

— Ну вот, — сказал дед, будто услышал.

Он положил ручник и кивнул на верстак.

— У Тулиных масло возами стоит. И горн у них на четыре мастера. А наряд нам пишут один.

Это заняло час. Когда мы закончили, на верстаке лежал восьмой замок: нутряной, с одной пружиной, с четырёхгранным отверстием под вороток. Некрасивый и честный.

Старик сел, вытер лицо запястьем и сказал:

— Дай.

Я не понял.

— Дай, говорю, — сказал он и протянул ладонь к замку, не касаясь его.

И тогда я его почувствовал.

Не знаю, как это назвать точнее. Под ложечкой у меня всё утро сидела тёплая тяжесть, и я списывал её на то, что в чужом теле всё чужое. Сейчас эта тяжесть сдвинулась.

Она прошла из середины в правое плечо, из плеча в кисть, и кисть сама пошла вперёд, к замку, и я успел её удержать.

Старик посмотрел на мою руку. Потом на меня.

— Не ты, — сказал он. — Я.

— Почему?

— Мал.

— Я могу.

— Можешь, — сказал дед. — И по закону не имеешь права. Подручный жара не кладёт. Положишь — мне каторга,

тебе училище за казённый счёт, а роду ещё одна бумага в дело.

Он подвинул замок к себе.

— Сядь и смотри.

Он положил ладонь на замок сверху.

Ничего не загорелось и не зазвенело, замок не изменил цвета. Он просто стал другим, и я это видел, хотя объяснить не мог.

Старик держал ладонь секунд двадцать. Потом убрал.

Лицо у него было такое, как у человека, который поднял тяжёлое и старается не показать, что тяжёлое.

— Вот и всё, — сказал он.

Бирки лежали на краю верстака. Восемь деревянных плашек на шнурках, с печатным оттиском и строчками от руки.

Я взял верхнюю.

Кречетово. Замокъ дверной нутряной. Ёмкость — 29. Утечка — 24.

Я посчитал, что это значит, прежде чем понял, откуда я знаю, что оно значит. Двадцать четыре процента в сутки от двадцати девяти — это шесть с небольшим в первые сутки. Через неделю останется меньше шести. Через две — ничего.

Это был брак. Норм этого мира я не знал, но двадцать лет прожил среди протоколов и бумагу, в которой цифра стоит так, узнаю по осанке.

Потом я взял вторую бирку.

Ёмкость — 29. Утечка — 24.

Третью.

Ёмкость — 29. Утечка — 24.

Я перебрал все восемь.

Везде стояло одно и то же, одним почерком, одними чернилами. На восьми разных замках, сделанных в разные дни из разного железа, двумя разными руками.

И поверка была в четверг.

То есть цифры написали за четыре дня до того, как их собирались мерить.

— Дед, — сказал я.

Он не обернулся. Он выгребал золу из-под горна.

— Дед, тут цифры уже вписаны.

— Вписаны.

— А проба в четверг.

— В четверг.

Я положил бирку.

— А если в четверг выйдет не двадцать девять?

Старик разогнулся и долго смотрел на меня. Злости в глазах больше не было. Была усталость.

— Не выйдет, — сказал он.

— Почему?

— Потому что у Кречетовых двадцать девять, — сказал дед. — Сорок лет двадцать девять. И после меня будет двадцать девять.

Глава 2. Дело пятьдесят девятого

К вечеру я знал про этот мир четыре вещи и не знал всего остального.

Знал, что идёт восемьсот девяносто девятый год и что это Тульская губерния. Знал, что посад называется Кречетово и что фамилия у меня по нему же.

Знал, что мы делаем замки, подковы и скобы, а оружие нам делать нельзя. И знал, что в этом мире есть жар, он у меня есть, и пользоваться им я не имею права.

Четыре факта. Для начала экспертизы по отказу этого мало. Для начала экспертизы вообще-то нужно знать, что отказало.

Изба стояла в тридцати шагах от мастерской, и там было теплее, чем я ожидал, и беднее, чем я был готов.

Горница, печь, стол, две лавки, образ в углу, занавеска. За занавеской — кровать деда. Мне, судя по лежащему на лавке тулупу, принадлежала лавка.

Лампа на столе была масляная, с закопчённым стеклом.

Я смотрел на неё, пока дед ставил щи, и думал, что в мастерской на стене висит прибор для измерения вещей, которые горят без масла, а в доме у нас горит с маслом.

— Садись, — сказал дед.

Я сел.

Щи были пустые, с одной капустой и луком, и я съел их

так, как не ел ничего в прежней жизни, потому что шестнадцатилетнее тело за день у горна требует своё и не слушает, что ты там думаешь.

— Ты с утра как пришибленный, — сказал дед, не поднимая глаз от ложки.

Вот оно.

— Голова болит, — сказал я. — С утра. Будто память перетряхнуло.

Дед жевал.

— Спроси, — сказал он.

— Что спросить?

— Что хотел. Ты с утра у стены стоял, наряд читал, как первый раз в жизни. Спрашивай, чего не помнишь, пока я добрый.

Добрый он при этом не выглядел.

Я отложил ложку и решил, что второго такого разрешения не будет.

— За что нам запретили клеймо?

Дед поставил свою ложку в щи. Очень аккуратно, будто она была стеклянная.

— Это ты помнишь, — сказал он.

— Я помню, что запретили. Не помню, за что.

— И не надо.

— Дед.

— Не надо, — повторил он. — Сорок лет не надо. И тебе не надо.

Он встал, снял с печи тряпку и стал протирать стол, которого никто не пачкал.

Я сидел и смотрел на его спину.

В прежней жизни я сорок раз видел эту спину. Когда приходишь на участок с заключением, а мастер уже знает, что в заключении, и начинает протирать то, что чистое.

— Двадцать девять, — сказал я.

Дед остановился.

— Двадцать девять нам пишут не потому, что у нас сталь на двадцать девять, — сказал я. — Нам пишут двадцать девять, потому что у нас дело. Бирки заполнены до поверки. Значит, поверка ничего не решает. Значит, решает бумага, которая лежит где-то в Туле и которой сорок лет.

Я говорил и сам слышал, что голос у меня взрослее, чем положено, и уже не мог остановиться.

— Я не помню, за что. Но я умею читать документы. Покажи мне бумагу, и я больше ничего не спрошу.

Старик стоял с тряпкой в руке.

Потом он подошёл к лавке у окна, отодвинул её, встал на колени и поддел ножом третью от стены половицу.

В коробке из-под чая лежало немного.

Сложенный вдвое лист, пожелтевший по сгибу, и второй, помельче, писанный от руки. И ещё одна вещь, завёрнутая в ветошь, которую дед трогать не стал.

Он положил оба листа на стол, под лампу, и сел напротив.

— Читай, — сказал он. — Раз умеешь.

Я взял тот, что покрупнее.

ПАЛАТА КЛЕЙМ. Отделение Тульское. По делу о пробе клинков, поданных Кречетовым, Саввою Петровым, посада Кречетово, марта 11 дня 1859 года. Подано к пробе клинков четырнадцать. Ёмкость — 60. Утечка — 28. Сорта не удостоены. Резолюция: в показаниях мастера признан подлог. Роду Кречетовых в праве клейма отказать.

Я прочёл это трижды, и на третий раз у меня стало холодно в руках.

Не от слова «подлог». От двух цифр.

— Савва Петров — это кто? — спросил я.

— Отец мой, — сказал дед. — Тебе прадед.

— Ты его помнил?

— Я при нём стоял, — сказал дед. — Мне тридцать было.

Я эти клинки подавал к пробе своими руками.

Он сказал это ровно, как говорят про чужое.

Я положил бумагу.

— Дед. Утечка двадцать восемь процентов в сутки.

— Двадцать восемь.

— Это значит, что через сутки в клинке остаётся меньше трёх четвертей. Через неделю — пятая часть. Через месяц в нём пусто.

— Так и сказали, — согласился дед. — Что через месяц пусто. И что железо, которое через месяц пусто, не оружие, а убыток.

— И что было дальше?

Старик долго молчал.

— Дальше партия ушла на границу, — сказал он. — По ошибке. Интендант спутал обозы, и наши четырнадцать поехали на заставу вместо того, чтоб вернуться к нам в мастерскую.

Он поднял на меня глаза.

— И там они пережили всё, что на заставе было.

Я сидел очень тихо.

— Как это — пережили?

— А вот так, — сказал дед. — Казённые клинки первого сорта на заставе меняли каждую неделю. Выдыхались. Наши держали месяц. Потом второй. Потом заставка написала в Палату, чтоб прислали ещё, и подписалась: клинки Кречетова.

— И что ответила Палата?

— Палата ответила, что клинков Кречетова не существует, — сказал дед. — Потому что по пробе они брак. А если брак, который держит месяц, то, стало быть, пробу подделали. Стало быть, мастер жулик. Стало быть, и заставка жулик, раз хвалит.

Он помолчал.

— Нас не за плохое железо наказали, Петька. Нас наказали за то, что железо вышло хорошее, а в бумаге стояло плохое. Бумага старше правды.

Я встал и прошёл по горнице до печи и обратно.

Я знал эту задачу.

Я эту задачу решал двадцать лет, только называлась она

скучнее: расхождение результата стендовых испытаний с эксплуатационным ресурсом. Приходит деталь, по стенду — брак, в работе ходит втрое. И первое, что ты пишешь в заключении: проверить методику.

— Дед, — сказал я. — Чем мерят утечку?

— Мерником.

— Как?

Он посмотрел на меня с подозрением, и я понял, что спрашиваю то, что знает здесь любой мальчишка.

— Голову перетряхнуло, — напомнил я.

— Кладут вещь в покой, — сказал дед неохотно. — В ящик, на сутки. Утром снимают, вечером снимают. Разницу пишут. Это и есть утечка.

— В покой.

— В покой. Чтоб никто не трогал, и чтоб не работала.

— А на заставе они работают.

— Так, — сказал дед.

— Дед, — сказал я и сел обратно. — Слушай меня внимательно. Утечка — это сколько вещь теряет, когда лежит. На заставе она не лежит, ею рубят. И есть второе число, которое никто не мерит: сколько вещь отдаёт, когда ею работают.

Я положил ладонь на бумагу.

— Наши клинки отдают медленно. Поэтому в покое с них много уходит — они не держат жар крепко, он из них сочится. И поэтому же в бою они не выдыхаются: они не умеют отдать всё сразу. Они по-другому сделаны.

Я сам слышал, как это звучит, и всё равно сказал до конца.

— Прибор не врал. Прибор мерил не то. Он мерил покой, а на границе воюют.

Лампа горела. На стекле была копоть, и свет от неё лежал на столе неровным кругом.

Дед смотрел на меня.

Лицо у него было такое, какого я у него больше никогда не видел. Он смотрел на меня с ужасом.

— Повтори, — сказал он.

— Прибор мерил покой, а на границе...

— Нет, — сказал дед. — Первое. Про второе число.

— Есть второе число, — сказал я. — Сколько вещь отдаёт под нагрузкой. Палата его не мерит.

Старик закрыл лицо руками.

Он просидел так, наверное, минуту. Потом отнял руки, и я увидел, что он не плакал, просто очень устал.

— Петька, — сказал он. — Ты сейчас сказал слово в слово то, что мне говорили в этой горнице восемь лет назад.

— Кто?

Дед кивнул на лавку, на которой я сидел.

— Отец твой. Андрей Егорович. Сидел вот тут, где ты, и говорил про второе число. Теми же словами. Он до него десять лет доходил, по журналам, по книжкам, по заставным отпискам. А ты сегодня за один вечер.

Он потянулся и подвинул коробку к себе.

— Он тоже сказал: покажи бумагу, и я больше ничего не

спрошу. Я показал.

— И?

— И он поехал в Тулу, — сказал дед. — В Палату. С прошением о пересмотре дела пятьдесят девятого года. В марте. Сказал, что к Пасхе вернётся.

Он закрыл коробку и положил на неё обе руки.

— Восемь лет уже как Пасха.

Глава 3. Сорок один

Утром я попросил разрешения сделать замок.

Дед выгребал шлак и не обернулся.

— Наряд на восемь, — сказал он. — Девятый некуда.

— Девятый не в наряд. Себе.

— Железо своё.

— Своё, — согласился я.

Он выпрямился и посмотрел на меня через плечо.

— И в свободное, — сказал он. — Горн у меня под нарядом до четверга.

Это значило: ночью.

— Хорошо, — сказал я.

Железо я нашёл в сарае, под дровами, где оно лежало, судя по слою ржавчины, лет десять.

Обломок рессоры. Коляска, с которой её сняли, давно сгнила, а полоса осталась: длиной в аршин, толщиной в три линии, с характерным упругим звоном, когда по ней стукнешь.

Рессорная сталь. Углерода в ней много — думаю, около двух третей процента, может чуть меньше. Для пружины замка лучше не придумаешь, и купить такое нам было бы не на что.

Ещё я взял полосу мягкого железа из остатков наряда и ведро костей.

Кости я выпросил у соседки, сказав, что деду надо для клея. Соседка посмотрела на меня странно, но дала.

Их я сжёг и растолок в крошку.

Замок я делал три ночи.

Корпус и ригель — из мягкого железа. Мягкое железо хорошо тем, что гнётся и не лопаётся, и плохо тем, что стирается: ригель за год работы в чужих руках выработает паз и начнёт болтаться.

Поэтому ригель я зацементировал.

Это делается просто и долго. Берёшь деталь, засыпаешь её костяной крошкой в закрытой железной коробке, замазываешь щели глиной и держишь в углях при хорошем жаре часов шесть.

Углерод из крошки лезет в поверхность железа, и наружу ты вынимаешь ту же деталь, у которой корка стала сталью, а середина осталась железом.

Твёрдо сверху, вязко внутри. Будет тереться и не будет ломаться.

Дед вышел на второй ночи, посмотрел на коробку в углях и спросил:

— Это что?

— Ригель в костях.

— Зачем?

— Чтоб корка взяла твёрдость, а нутро осталось мягким.

Дед постоял.

— Долго, — сказал он.

— Шесть часов.

— Угля на шесть часов — четверть пуда.

— Я носил с осени, — сказал я. — Это мой.

Он ушёл.

Утром я нашёл у коробки свежий ворох угля, которого не носил.

Пружину я делал из рессоры, и вот тут начиналось то, из-за чего я вообще взялся.

Дед калит пружины в воде. В воде сталь остывает рывком, и это даёт твёрдость, а вместе с твёрдостью — внутреннее напряжение, от которого тонкую полосу тянет винтом, а иногда рвёт по кромке. Дед потом правит руками и тратит на правку больше, чем сэкономил на закалке.

Калить надо в масле. В масле сталь остывает мягче, твёрдости для пружины хватает с избытком, и править почти нечего.

Масла у нас не было. Масло у нас было на отпуск, в бочке, и дед считал его по кружкам.

Поэтому я взял кусок старого сала с чердака, растопил его в черепке и калил в сале.

Это работает. Сало по-своему даже лучше масла — остывание ещё спокойнее, — и единственное, что в нём плохо, это запах. К третьей ночи мастерская пахла как трактир, в котором что-то забыли.

Потом был отпуск.

Закалённая сталь тверда и хрупка. Если оставить её так,

пружина сломается на первом же нажатии. Её надо нагреть обратно, немного, и выдержать — и она отдаст часть твёрдости, зато перестанет колоться.

Градусник у меня был один: цвет.

Чистую сталь греешь медленно, и по поверхности идёт плёнка. Сначала светло-жёлтая, это около двухсот двадцати. Потом соломенная. Потом бурая, потом фиолетовая, а потом синяя — и вот синяя мне и была нужна, это чуть выше трёхсот.

Я грел пружину на плитке над углями и смотрел, как по ней ползёт цвет.

Жёлтый. Соломенный. Бурый.

Фиолетовый.

Синий.

Я снял её и дал остыть на воздухе.

Потом нажал пальцем и отпустил, и она отозвалась ровно и вернулась на место, и я сел на чурбак и несколько секунд был просто счастлив.

Сорок два года, двадцать лет термообработки, тысяча заключений по отказам, и я сижу в ночной кузнице в чужом веке и радуюсь, что у меня получилась пружина для дверного замка.

В среду вечером приехал поверщик.

Он приехал на казённой тележке, в шинели с петлицами, с деревянным ящиком на ремне и книгой под мышкой. Лет сорока, усталый, вежливый, с таким лицом, какое бывает у

человека на сто двадцатом объекте.

Ящик он поставил на верстак и открыл.

Внутри лежал мерник — такой же, как у деда на стене, только новее и с пломбой, и ещё коромысло с двумя медными стаканами.

Дальше я смотрел очень внимательно, потому что это была методика, а методику я читать умею.

Он брал замок. Ставил на коромысло. Записывал.

Потом подносил мерник, держал секунд десять и смотрел на костяную шкалу.

— Двадцать девять, — говорил он и писал.

Восемь замков, восемь раз двадцать девять. Иногда шкала показывала двадцать восемь, иногда тридцать, и он всё равно писал двадцать девять, потому что, как я понял, округлял до того, что ожидал увидеть.

Потом он сложил все восемь в ящик, закрыл крышку и запломбировал.

— До утра в покое, — сказал он деду. — Утром сниму утечку.

— Знаю, — сказал дед.

Поверщик помялся.

— Егор Саввич, — сказал он. — Я к вам двенадцатый год езжу.

— Езжайте.

— Я вам просто скажу, чтоб вы зря не ждали. У меня в книге на вас уже вписано.

— Знаю, — сказал дед.

Утром он снял ящик с лавки, достал замки, померил и объявил:

— Двадцать четыре.

Я подошёл и посмотрел на шкалу.

На шкале стояло двадцать два.

— Двадцать два, — сказал я.

Поверщик поднял на меня глаза.

— Чего?

— На шкале двадцать два. Вы написали двадцать четыре.

В мастерской стало тихо. Дед за моей спиной перестал дышать, и я это услышал.

— Мальчик, — сказал поверщик без всякой злости. — У тебя по роду двадцать четыре. Я тебе двадцать два напишу — у меня спросят, с чего вдруг. Я тебе двадцать напишу — у меня спросят вдвое строже. А двадцать четыре у вас в деле с пятьдесят девятого года, и за двадцать четыре меня никто ни о чём не спросит.

Он закрыл книгу.

— Я тебе добра желаю, — сказал он. — Двадцать четыре — это третий сорт. Вам с ним можно торговать скобяным. Будет двадцать два — тоже третий, и ничего не изменится. А будет когда-нибудь у вас второй сорт, так я его в книгу и не впишу, потому что мне такую книгу назад вернут.

Он ушёл.

Дед выгреб золу, замёл пол и до обеда со мной не говорил.

Свой замок я положил на дедовский мерник в четверг вечером.

Он был готов. Некрасивый — корпус я повёл на второй ночи и правил напильником, — но он работал, и ригель входил без люфта, и пружина щёлкала чисто.

Жар в него дед положил сам, потому что я подручный и права не имею.

Он держал ладонь дольше обычного. Секунд сорок. Потом убрал и сел, и я видел, что ему тяжело.

— Мерь, — сказал он.

Я поднёс мерник и стал считать до десяти.

Костяная шкала была размечена мелко, по одной единице, и чтобы прочесть её при лампе, надо было наклониться.

Я наклонился.

Потом я выпрямился, потом наклонился снова, потому что решил, что мне показалось.

— Ну? — сказал дед.

— Сорок одна, — сказал я.

Дед молчал.

Я поставил замок в ящик, и всю ночь он простоял в покое, и утром я померил снова и вычел.

— Утечка девятнадцать процентов, — сказал я.

Я сел на чурбак напротив деда и попробовал сказать это как-нибудь обыденно, и не вышло.

— Сорок одна при девятнадцати. Третий сорт, нижняя граница, но третий. Настоящий третий, мереный.

Дед взял замок со стола, подержал на ладони, будто взвешивал, и положил обратно.

— Савва мой подавал шестьдесят, — сказал он. — И его называли жуликом.

Он посмотрел на меня.

— А ты принёс сорок один. И тебя тоже назовут.

Глава 4. Приказчик

Про Тулиных я к пятнице знал уже достаточно, чтобы понимать, почему дед при их имени делается деревянным.

Устроено это было так.

Дом Тулиных держал в уезде подряд на скобяной товар. Всё, что в уезде делалось из железа и не было оружием, шло через них: замки, скобы, петли, засовы, печные приборы. Мелкие мастерские вроде нашей работали им в поставку.

Мы делали замок и отдавали его Тулиным по сорока копейкам. Тулины везли его в Тулу и продавали по рублю двадцати.

Юридически всё было чисто. Клеймо ставила Палата, дом его не касался. Дом просто покупал дешево и продавал дорого, и ровно за это он и назывался домом.

— А если не им? — спросил я.

— Кому? — сказал дед.

— Ижевским. Да хоть на торг в Тулу самим.

Дед посмотрел на меня почти с жалостью.

— А наряд нам кто пишет, — сказал он.

Я подумал и понял.

Наряд Палаты на восемь замков приходил не с неба. Его писали по заявке подрядчика. Подрядчиком был дом Тулиных. Значит, если мы отказываемся продавать Тулиным, то в следующем месяце нам просто не напишут наряд, а без на-

ряды мы не имеем права сделать ни одного замка.

Не кабала, не угроза, ничего противозаконного. Просто бумага, которую пишет не ты.

— Красиво, — сказал я.

— Чего?

— Красиво сделано, говорю.

Дед хмыкнул и ушёл запрягать.

Селиверстов приехал после обеда, на хорошей рессорной тележке, и первое, что я подумал, когда он выпрыгнул, — что рессоры у него те самые, каких у меня в сарае лежал обломок.

Был он лет тридцати пяти, в суконном пальто, в чистых сапогах, и у него было приятное лицо.

Вот это оказалось самым неприятным.

Я ждал мордоворота с кнутом. Приехал человек, который при входе снял картуз, перекрестился на образ в углу мастерской и сказал деду:

— Здравствуйте, Егор Саввич. Как здоровье?

— Здоровье, — сказал дед.

— Это хорошо.

Он поставил на верстак свой ящик — поменьше казённого, но из того же дерева, — развязал тесёмку на книге и начал считать.

Считал он вслух.

— Восемь, — сказал он. — Нутряные. Так. По сорока — три рубля двадцать. Пятнадцать копеек долой за вид, Егор

Саввич, вы уж простите, тут вот на этом корпус вело и правлено напильником, у меня приёмщик в Туле на такое смотрит. Три рубля пять.

— Пятнадцать копеек, — сказал дед.

— Я бы и не считал, — сказал Селиверстов с настоящим сожалением. — Да у меня книга.

Он положил на верстак три рубля и пятак, и дед взял их и ничего не сказал.

Я стоял у горна и смотрел.

Три рубля пять копеек за восемь замков. Триста рублей за год училища. Я на всякий случай посчитал ещё раз.

Чтобы заплатить за один год моего обучения, нам надо было сдать в дом Тулиных семьсот восемьдесят замков.

— А это что у нас? — сказал Селиверстов.

Он смотрел на верстак.

На верстаке лежал мой замок.

Я не убрал его. Это была целиком моя глупость, и объяснялась она просто: я трое суток не спал нормально, и утром, когда снял утечку, я положил его на верстак и пошёл есть.

Селиверстов взял его в руки.

Он взял его так, как берут вещь люди, которые с вещами работают, — сразу правильно, за корпус, не хватая за ригель.

— Хороший, — сказал он. — Чей?

— Мой, — сказал я.

— Твой, Пётр Андреич?

Он впервые посмотрел прямо на меня, и мне стало понят-

но, что приятное лицо — это не ошибка природы, а инструмент, и человек умеет им пользоваться.

— Мой.

— А жар чей?

— Мой, — сказал дед от горна.

— Ну, стало быть, ладно, — сказал Селиверстов и успокоился.

И тут я сделал второе, что следовало не делать.

Он вертел замок в руках, щёлкал ригелем, оценивал — и в этом щелчке было одобрение, настоящее, без игры, и мне после трёх ночей и после двадцати четырёх, вписанных вместо двадцати двух, захотелось, чтобы кто-нибудь сказал это вслух.

— Сорок одна, — сказал я.

Селиверстов перестал щёлкать.

— Чего сорок одна?

— Ёмкость. Сорок одна, утечка девятнадцать.

Я и сейчас помню, как в мастерской изменился воздух.

Дед у горна выпрямился очень медленно.

Селиверстов постоял, положил замок на верстак, вытер руки платком — не потому, что они были грязные, а чтобы занять паузу, — и сказал мягко:

— Кто мерил?

— Я.

— Чем?

Я кивнул на стену, на дедовский футляр.

— Домашним.

— Домашним, — повторил Селиверстов. — Егор Саввич, а мальчик у вас в разряде?

— Подручный он, — сказал дед.

— Подручный.

Селиверстов аккуратно завязал тесёмку на книге.

— Статья одиннадцатая, — сказал он. — «Не прошедший училища к пробе не допускается». Егор Саввич, я вас спрашиваю без всякого зла: вы понимаете, что ваш внук только что при мне сказал, что ставил пробу?

— Он не ставил, — сказал дед. — Он мерил.

— А разница в чём?

— Проба — для Палаты. А он для себя.

— Это вы мне говорите, — сказал Селиверстов. — Я-то соглашусь. А в Палате спросят иначе: откуда у вас своё число, если число ставит Палата?

Он помолчал.

— И знаете, что хуже? Хуже то, что число у него не круглое. Если бы он сказал «тридцать», я бы подумал: хвастает мальчишка. А сорок одна — это не хвастовство. Это мерили.

Дальше он сделал то, чего я не ждал.

Он сел на чурбак, поставил локти на колени и заговорил по-человечески.

— Пётр Андреич, — сказал он. — Я вам кое-что скажу, а вы послушайте, потому что вам никто больше не скажет.

— Слушаю.

— В доме Тулиных две тысячи работников, — сказал он.
— Четыре горна в одном Туле. Мастеров второго клейма — девять человек. И знаете, что у нас болит? У нас болит, что мы ничего выше третьего сорта поставить не можем.

— Почему?

— Потому что у нас четыре горна и двести рук, — сказал Селиверстов. — Вещь начинает один, кончает другой, калит третий. А жар держится только в том, что сделано одной рукой от первого удара до последнего. Статья третья. И выходит, что чем нас больше, тем мы хуже.

Он развёл руками.

— Дом тридцать лет ищет, как это обойти. Деньги платит за одно: за мастера с ровной рукой, который делает вещь целиком. Такому мастеру дом даёт горн, уголь, железо и сто рублей в год.

Он посмотрел на меня снизу вверх, и смотрел честно.

— Я бы вас взял, — сказал он. — Вот сейчас, с этим замком. Я бы вас свёз в Тулу, определил в мастерскую, и через год вы бы ходили в сапогах и ели мясо. Клеймо ставить вам бы не дали — родовое не снимается. А работать бы дали.

— Под тулинским клеймом.

— Под нашим, — согласился он без всякого стыда. — А под каким ещё? Под вашим нельзя. Ваше запрещено с пятьдесят девятого года.

В мастерской было очень тихо.

— Нет, — сказал я.

Селиверстов кивнул, как будто ждал этого и даже был доволен.

— Я так и думал, — сказал он. — Вы на отца похожи.

Он встал, одёрнул пальто и взял мой замок с верстака.

— Это я возьму, — сказал он.

— Это не в наряде, — сказал я.

— Так и я не по наряду беру, — сказал Селиверстов. — Я беру на проверку. Вы при мне объявили число, которого по вашему роду быть не может, и мерили домашним прибором без права. Я обязан показать вещь в Палате. Если я этого не сделаю, а потом окажется, что знал, — это мне каторга, Пётр Андреич, не вам.

Он положил замок в свой ящик и завязал тесёмку.

— Отдайте, — сказал я.

— Не отдам.

— Это моя работа.

— Ваша, — сказал он. — И я её, между прочим, запомнил. Вещь хорошая. Если бы вы молчали, я бы её у вас купил за рубль и никому не сказал, и мы бы с вами сейчас не разговаривали.

Он надел картуз.

— Говорить вредно, — сказал Селиверстов. — Это самое главное, чему я в жизни выучился. Жалко, что бесплатно.

Он дошёл до двери и обернулся.

— В начале недели приедет пристав, — сказал он. — Не от меня. Я подам бумагу сегодня, он приедет сам, потому что

ему по бумаге положено.

И добавил, уже совсем мягко:

— Егор Саввич, уголь-то припрячьте. Не мой совет, а так, по-соседски.

Глава 5. Вызов

Пристава мы ждали три дня.

В субботу дед перетаскал уголь из мастерской в подпол и завалил сверху репой. В воскресенье он вынул из-под половицы жестяную коробку, ушёл с ней куда-то на час и вернулся без неё.

Где она теперь лежала, он мне не сказал, и я не спросил.

В воскресенье же он меня проинструктировал.

— Мерника не видел, — сказал он. — Чисел не называл.

Приказчику сказал по глупости, с чужих слов. Чьих слов — не помнишь.

— Он меня спросит, откуда число.

— С базара слышал.

— Дед, я назвал сорок одну и девятнадцать. Такое на базаре не слышат.

Старик посмотрел на меня.

— Ты, Петька, вот что пойми, — сказал он. — Пристав не затем едет, чтоб правду узнать. Он затем едет, чтоб бумагу закрыть. Ему надо, чтоб в бумаге сошлось. Дай ему, чем закрыть, и он уедет.

Это было, пожалуй, лучшее объяснение государственного устройства, какое я слышал в двух жизнях.

Ждать я не умел никогда, поэтому ждал с пользой.

Я сел и начал писать.

Бумаги у нас не было, была пачка старых нарядов за прошлые годы, исписанных с одной стороны. Карандаша тоже не было, был уголёк и позже — свинцовая палочка, которую я отлил сам из грузила.

Я писал с чистой стороны, мелко, и первое, что я написал сверху, было:

Что мы знаем о пробе.

Дальше шли четыре строки.

Первое. Проба мерит два числа: ёмкость и утечку за сутки покоя.

Второе. Утечка мерится в покое. Под нагрузкой вещь отдаёт иначе, и это число никто не мерит.

Третье. Жар держится только в том, что сделано одной рукой от первого удара до последнего. Это статья третья, и её знают все.

Четвёртое. Бирки на нашу работу заполняют до поверки. Значит, по нашему роду проба не мерит, а переписывает.

Я посмотрел на эти четыре строки и подумал, что в прежней жизни назвал бы это «предварительные данные» и постеснялся бы показать начальнику.

А потом подумал, что в этом мире, кажется, таких четырёх строк нет ни у кого.

Кроме одного человека, который поехал с ними в Тулу восемь лет назад.

Пристав не приехал.

В понедельник утром по улице прошёл почтарь, и я его

увидел из окна мастерской, и сначала не понял, что он идёт к нам, потому что к нам не ходят.

Он постучал в дверь мастерской, заглянул, нашёл глазами деда и сказал:

— Кречетову. Пакет казённый, под расписку.

Дед вытер руки и расписался крестом.

Я смотрел на этот крест и думал, что человек, который на глаз берёт температуру стали с точностью до пятидесяти градусов, не умеет написать свою фамилию.

Пакет был из плотной бумаги, с печатью на шнуре и с орлом.

Дед подержал его, повертел и отдал мне.

— Читай.

Я сломал печать.

ИМПЕРАТОРСКОЕ ОРУЖЕЙНОЕ УЧИЛИЩЕ, в городе Туле.

Кречетову, Петру Андрееву, посада Кречетово, одарённо-му, по спискам Палаты клейм за 1888 год.

На основании Устава о мастерстве с жаром, по достижении полных шестнадцати лет, Вы призываетесь к обучению и обязаны явиться в училище к 15 ноября сего года.

Плата за содержание и обучение — триста рублей в год, вносится родом призываемого вперёд за год.

При невнесении платы обучение производится на казённый счёт, с обязательством прослужить по окончании десять лет в месте, определённом Палатою.

Неявка почитается уклонением и влечёт взыскание по закону.

Я прочитал это вслух, целиком, два раза, потому что в первый раз не поверил в один абзац.

Потом я положил бумагу на верстак и сел.

— Это не от Селиверстова, — сказал я.

— Нет, — сказал дед.

— Это по возрасту. Я в их списках с восемьдесят восьмого года. Мне тогда было пять.

— Пять, — согласился дед. — Приезжали, мерили. Всех мерят, кому пять. У кого жар есть, того пишут.

— И через одиннадцать лет вызывают.

— Вызывают.

Я посмотрел на орла на печати.

Вот что меня в этом добило. Не Селиверстов с его приятным лицом, не поверщик со своими двадцатью четырьмя. Их я понимал: люди, у которых работа и книга.

А это было другое. Это была машина, которая завели меня в список, когда мне было пять, и которая ровно через одиннадцать лет выплюнула бумагу и предъявила счёт. Без злобы. По расписанию.

— Дед, — сказал я. — А если я не поеду?

— Уклонение, — сказал дед. — Взыщут с рода. Чем взыскивать, у нас нет, значит опишут мастерскую.

— А если поеду за казённый?

Дед не ответил.

Он отошёл к горну, сел на свой чурбак и стал ковырять палкой в золе.

— Дед.

— Казённый счёт платит в казну дом, — сказал он. — За тебя заплатит дом, и в службу тебя Палата определит к тому дому, который платил. На десять лет.

— К Тулиным.

— К Тулиным, — сказал дед. — Или к Златоустовым, если в тот год они больше внесут. Да какая тебе разница.

Он поднял голову.

— Десять лет, — сказал он. — С шестнадцати до двадцати шести. И клейма тебе всё равно не дадут, потому что родовое не снимается. Ты будешь делать им вещи за харчи, а ставить на них будут их.

Я сидел и смотрел на лист с орлом.

Селиверстов предлагал мне то же самое за сто рублей в год, добровольно, и я отказался, и он уехал почти довольный.

А теперь то же самое приезжало ко мне казённым пакетом, бесплатно и без права отказа, и я наконец понял, почему он уезжал довольный.

Ему не нужно было меня покупать. Ему нужно было только подождать до пятнадцатого ноября.

В тот же день я пошёл по посадку занимать.

Я не надеялся. Я перебирал варианты, потому что перебрать их надо все, даже заведомо пустые, — иначе потом будешь всю жизнь думать, что один не проверил.

Начал с дьячка.

Дьячок Кузьма был человек грамотный, жил при церкви, держал десяток ульев и слыл в посаде богатым, потому что у него были книги.

Он выслушал меня, посчитал на счётах, которых у него не было, покивал и сказал:

— Петя, у меня три рубля сорок. Все.

— Понял.

— Я бы дал, — сказал он, и это была правда. — У меня нету.

Он помолчал и ушёл в заднюю комнату, и вернулся с листом хорошей бумаги.

— Вот, — сказал он. — Это возьми.

— Зачем мне бумага?

— А затем, что ты в Тулу писать будешь, — сказал дьячок. — На обороте наряда в казённое место не пишут, его и читать не станут.

Он протянул лист и придержал его на секунду дольше, чем надо.

— Отец твой у меня тоже за бумагой приходил, — сказал он. — В марте, перед Тулой. Я ему два листа дал.

Мельник Фрол отказал по-другому.

Он не сочувствовал. Он сидел на ларе, смотрел мимо меня и спрашивал по делу.

— Под что?

— Под работу. Я отдам с заработка.

— С какого заработка?

— Замки.

— Замки ты дому сдаёшь по сорока копеек, — сказал Фрол. — Это я знаю, у меня шурин в лавке. Триста рублей замками — это восемь лет. Я восемь лет не живу так долго.

— Под мастерскую, — сказал я.

И вот тут он впервые на меня посмотрел.

— Мастерская у вас без клейма, — сказал Фрол. — Его-рова мастерская стоит ровно столько, сколько в ней железа, а железа в ней пуда на три. Ты мне что заложить хочешь — наковальню?

Он сплюнул в сторону, беззлобно.

— Ты, малый, не обижайся. Вам не дают не потому, что вы плохие. Вам не дают потому, что с вас взять нечего.

Деньги мне дала соседка.

Та самая, у которой я в октябре выпросил кости и которая тогда посмотрела на меня странно. Звали её Акси́нья, лет ей было около шестидесяти, и жила она с сыном и невесткой.

Она вышла к плетню, когда я проходил обратно, и сказала:

— Петька. Поди.

Я подошёл.

Она сунула мне в руку что-то завернутое в платок и сразу убрала руки за спину, будто обожглась.

— Это чего? — сказал я.

— Двадцать копеек, — сказала Акси́нья. — Мужiku моему не говори. И невестке не говори.

— Аксинья Фоминишна, мне триста рублей надо.

— Ну так и что, — сказала она. — Триста у меня нету, а двадцать копеек есть.

Она пошла к дому и уже от крыльца обернулась.

— Отец твой мне печку клал, — сказала она. — Двенадцать лет стоит, ни одна щель не пошла. Иди, Петя.

Итог похода по посадку был такой: двадцать копеек и один лист хорошей бумаги.

Я шёл домой и, честно говоря, был не так расстроен, как должен был.

Потому что кроме двадцати копеек я принёс кое-что ещё, и это второе я в тот вечер записал на обороте наряда, хотя тогда ещё не понимал, зачем.

Что дом Тулиных платит по сорока копеек и об этом знает каждый в посадке.

Что мастерская без клейма стоит цену железа в ней.

И что из трёх человек, с которыми я в тот день говорил, двое по своей воле вспомнили моего отца.

— Сколько у нас есть? — спросил я.

Дед ушёл в избу и вернулся с тряпичным кошелём.

Он выложил на верстак всё, что в нём было, и разложил столбиками, потому что по-другому не умел.

Одиннадцать рублей сорок копеек.

— Это за сколько собрано? — спросил я.

— Как Андрей уехал, так и собираю, — сказал дед.

Восемь лет. Одиннадцать рублей сорок копеек.

Я взял свинцовую палочку и посчитал на обороте наряда, и считать было нечего, но я всё равно посчитал, потому что мне надо было увидеть это написанным.

Триста рублей. Наряд — восемь замков в месяц. Сорок копеек за замок, минус вычеты за вид, значит около трёх рублей с наряда.

Сто нарядов.

Восемь лет и четыре месяца.

— Восемь лет, — сказал я.

— Вот и я говорю, — сказал дед.

Он собрал монеты обратно в кошель, затянул тесёмку и сказал спокойно, как говорят о погоде:

— Поедешь

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.